

Марина
Степнова

Женщины
Лазаря

Роман



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С79

Художник Владимир Мачинский

В оформлении переплета использован фрагмент картины
А.А. Дейнеки "Парижанка" (1935)

Издательство благодарит литературное агентство
"Banke, Goumen & Smirnova" за содействие в приобретении прав

Степнова, Марина Львовна.

С79 Женщины Лазаря : роман / Марина Степнова. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2024. — 445, [3] с. — (Марина Степнова: странные женщины).

ISBN 978-5-17-107283-4

Необычная семейная сага от начала века до наших дней, роман о большой любви и большой нелюбви. "Женщины Лазаря" Марины Степновой — бестселлер, удостоенный премии "Большая книга" и переведенный на 25 языков.

Лазарь Линдт, гениальный ученый и большой ребенок, — центр inferнальных личных историй трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша, гений-самоучка, возникший на пороге их дома в 1918 году, полюбит совсем не сыновней любовью, но это останется его тайной. Уже после войны в закрытом городе N светило советской науки влюбится по уши в молоденькую Галину и буквально украдет ее в "другую жизнь", но... заслужит только нешуточную ненависть. Третья "женщина Лазаря" внучка-сирота Лидочка унаследует его гениальную натуру, но мечтать будет только об одном — обрести свой, невоображаемый дом, полный тепла и скрипа настоящих половиц. Марусин дом.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-107283-4

© Степнова М.Л.
© Дейнека А.А., УПРАВИС
© ООО "Издательство АСТ"

Оглавление

Глава первая
Барбариска
7

Глава вторая
Маруся
32

Глава третья
Лазарь
71

Глава четвертая
Галочка
163

Глава пятая
Галина Петровна
199

Глава шестая
Лидочка
295

Глава первая

Барбариска

В 1985 году Лидочке исполнилось пять лет, и жизнь ее пошла псу под хвост. Больше они так ни разу и не встретились — Лидочка и ее жизнь, — и именно поэтому обе накрепко, до гула, запомнили все гладкие, солоноватые, влажные подробности своего последнего счастливого лета.

Черное море (черное, потому что никогда не моет руки, да?), похожий на рассыпавшиеся спичечные коробки пансионат, пляж, усеянный обмякшими картонными стаканчиками из-под плодово-ягодного (папа говорил — плодово-выгодного) мороженого и огромными раскаленными телами. Утренний проход к облюбованному местечку, вежливый перебор ногами, чтобы не зацепить пяткой или полотенцем чужую, буйную, отдыхающую плоть. Лидочка быстро теряла терпение, и стоило мамочке хоть на секунду отвлечься на соседку по столовскому столику или бродячего торговца запрещенной сахарной ватой, как Лидочка срывалась со строгого визуального поводка и, без разбору молотя круглыми толстыми

пятками, с пронзительным верещанием бросалась к морю.

Потревоженные, как сивучи, курортники приподнимались, вытряхивали из влажных расщелин и синтетических складок крупный, словно перловка, утренний песок, улыбались в ответ на извинительные родительские причитания — ничего, нехай дитё порадуетя! Ишь, поскакала, егоза! Вы понимаете, она у нас в первый раз на море... А вы сами откуда будете? Из Энска. О, далеко забралися. А мы из Криворожья, получили вот путевочки от завода, правда, Мань? Маня радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой, и сдвигала в кучу барахло, чтобы папе было удобнее постелить полотенце. Вы в “Солнечном” отдыхаете? Да-да. Мамочка торопливо выпутывалась из сарафана, потрескивая искрами и швами ненастоящего шелка. А мы в “Красном Знамени”. Очень приятно.

Готовой вспыхнуть многолетней дружбе — с открытками на календарные праздники и взаимными визитами через всю страну — мешали жара и Лидочка, золотистая, оглушительная, гладкая, блещущая в мелком всенародном прибое. Мамочка никак не могла отвлечься от нее — ни на вспотевший арбуз, сахарно хрустнувший под хищным перочинным ножом мирного криворожского пролетария, ни на вечного пляжного “дурачка” (позвольте, а что у нас — козыри? Нет, червы были в прошлый раз!), ни на нескончаемо запутанные монологи из заманчивой незнакомой жизни. И тогда Петрович, брат мой, грит — мол, забирай, Лариска, дитё и перебирайся ко мне, места хватит, а он и правда только от правления комнату получил — двенадцать метров, хоть свадьбу играй, хоть на мотороллере катайся! Романтический пунктир судьбы никому не известного Петровича грозил превра-

титься в линию сплошного человеческого счастья, но мамочка только рассеянно улыбалась.

В другой раз она с наслаждением примерила бы на себя чужую, невозможную судьбу — только для того, чтобы убедиться, как ладно и ловко скроена ее собственная. Но стоило истории заложить очередной сюжетный вираж, полный коммунальной нищеты и прижитых во грехе младенцев (почему-то скудный советский быт всегда провоцировал невиданные, прямо-таки байронические страсти), как Лидочка, хоча, отпрыгивала от щекотной волны, и нить истории безнадежно ускользала. Горизонт, мреющий, дрожащий от нарастающего жара, слепил глаза, мамочка испуганно жмурилась, не находя среди облезлых плеч, титанических задниц и ликующих воплей знакомую дочкину панамку. Слава богу, вот она. Лидочка в ответ махала рукой и, не снимая красно-синий надувной круг, присаживалась на корточки — лепить из песка аппетитный куличный домик с термитными башенками, выдавленными из маленького горячего кулака.

Панамка из белого шитья бросала живую дырчатую тень на Лидочкины загорелые щеки, но тень от ресниц была еще прозрачнее и длиннее — ой и ладненькая у вас доча, тьфу на нее, шоб не сглазить. Мамочка благодарно — двумя руками, как хлеб, — принимала похвалу, но втайне с ликующей, клокочущей уверенностью даже не чувствовала — знала, что ничего Лидочка не ладненькая, а единственная. Неповторимая. Самый прекрасный ребенок на свете — с самой прекрасной, безукоризненно счастливой судьбой. Мамочка с тихой изумленной улыбкой смотрела на дочку, а потом на свой живот — молодой, тугой, совсем не изуродованный ранними родами, и сама не

верила, что Лидочка — круглоглазая, как щенок, с шелковыми горячими лопатками и невесомыми взрослыми завитками на смуглой толстенькой шее — когда-то вся-вся помещалась там, внутри, а еще раньше вообще не существовала. Тут мамочкины мысли, достигнув окраины постижимого, начинали опасно буксовать, словно зависший над пропастью грузовик — надсадный вой агонизирующего мотора, два колеса тщетно наматывают на лысые шины густеющий воздух, два других — горстями швыряют мелкую, словно взрывающуюся от напряжения щебенку. Еще секунда до падения, секунда, секунда, прыгает перед глазами прозрачный пластиковый игрушечный чертик, Вовка сделал из капельницы, три рубля мне должен, зараза, теперь уж точно не отдаст, так вот, значит, как это, вот как умирают, вот о чем я уже никогда и никому не смогу рассказать... Ну почему небытие до рождения пугает меня больше, чем посмертная пустота? Почему умирать так не страшно, гос-па-ди-помилуй-и-пронеси?

— Ты бледная что-то, Нинуша, — встревоженно говорил папа и целовал мамочку в плечо. Кожа под губами и языком была горячая и сухая, как будто слегка подкрахмаленная. — Не перегрелась?

Мамочка виновато улыбалась. Морок отпускал ее, и душа, мелко крестясь, вырुливая на основную дорогу — взмокая от ужаса, спасенная, изнемогающая, но самым-самым своим краешком тоскующая, что так и не узнала, что там, — за последней секундой, после которой только кувыркающийся полет вперегонки с бесшумными обломками железа, и треск рвущихся мышц, и... и... и... Мамочка растерянно пыталась представить себе то, что невозможно себе представить, терлась лбом о спасительную мужнину руку — крепкую,

в крупных веснушках и родных рыжеватых махрах. Да, жарко что-то, милый. Голова закружилась.

Лидочка, в свои пять лет еще совершенный звереныш, почуяв неладный потусторонний сквознячок, тотчас бежала к матери — горячая, ловкая, в невиданных импортных трусиках-недельках. Каждый день — новый цвет, каждый день — новая смешная аппликация. Розовые трусики с земляничной — понедельник. Голубые с нахохлившимся зайкой — вторник. Желтые со щербатым подсолнухом — среда. Ма, ты чего? Мамочка нежными губами трогала дочкины веки — один глазик, другой — все в порядке, Барбариска, ты не обгоришь у меня, а? Не. Успокоившаяся Лидочка выворачивалась из ласкающих рук, рвалась обратно к морю, новые пляжные знакомцы приветливо скалились. Лида, Лидочка, Леденец, Барбариска — маленькие семейные прозвища, воркующий говорок родительской страсти. Никогда и никто больше так сильно. Никто и никогда.

— Не удирай, партизанка. — Папа подхватил Лидочку на руки, ловко перевернул, так что Лидочка зашлась от смеха: небо и море плавно поменялись местами, вот-вот посыплются в облака кораблики на горизонте, кусачие рыбы, морские коньки, все плыло, таяло, висели на невидимых нитках оглушительные чайки, парила между небом и морем сама Лидочка.

Это и было счастье — родные, горячие руки, которые никогда тебя не выпустят, не уронят, даже если перевернулся весь мир. Она потом это поняла. Очень сильно потом.

— Посиди с тетей Маней и дядей Колей, — велел папа, опуская Лидочку на песок, и море снова стало внизу, а небо — вверху. Как обычно. — Посидишь?

А мы с мамочкой сплаваем, а то она у нас совсем-совсем сварилась.

— Идите, идите себе спокойно, — сдобно загудела тетя Маня, — я своих двоих на ноги подняла, да внучка третья на подходе — глаз с вашей красотули не спущу. Купайтесь на здоровье.

— Мы ненадолго, — виновато пообещала мамочка и прижалась к Лидочке мягкой огненной щекой. — Слушайся тетю Маню. Я тебя очень и очень люблю.

Лидочка невнимательно кивнула — тетя Маня с заговорщицким видом производила в своей сумке какие-то энергичные раскопки, и ясно было, что извлечет она что-то очень и очень интересное. Дядя Коля тоже выглядел заинтригованным — видно было, что его жизнь с женой до сих пор полна молодых, волнующих сюрпризов. Опаньки! — с цирковой интонацией воскликнула тетя Маня и одарила Лидочку громадным персиком — нежно-шерстяным, горячим, тигрово-розовым от переполнявшего его света. Волна толкнула прохладной лапой мамочкин живот, и по спине и плечам тотчас шарахнулись торопливые мурашки. Лидочка, зажмурившись, понюхала щекотный персик. Давай, кто быстрее до буйков, Нинуш? Мамочка трянула головой и доверчиво улыбнулась. Кушай, доча, — ласково напутствовала тетя Маня, дядя Коля уже обстукивал об коленку вареное яйцо, добытое из той же сумки, на газетке один за другим, как в фокусе, появлялись уродливые помидорины “бычье сердце”, ломти экспроприированного из столовой хлеба, колбаска, рыночный, насквозь золотой виноград. По восемьдесят копеек сторговалась, похвасталась тетя Маня и с одинаковой бездумной нежностью погладила сперва нагретую солнцем головку Лидочки, а потом — стриженный де-

генеративный затылок своего пролетарского мужа, — ох, и золотая ты у меня, хозяйка, Маруська, сам себе завидую, чессло...

Лидочка доела персик почти до половины, переводя дух и подстанывая от удовольствия, липкий сок заливал ей подбородок, толстенький, загорелый живот — да не размазывай, доча, я тебя потом накупаю, будешь чистенькая, как яблочко, мамка-то где у тебя работает? Ишь ты — и папка тоже чертежи рисует? А комнат у вас сколько? Слышь, Коль, я ж говорила, что на севере инженерам трехкомнатные квартиры сразу дают, а ты — на фиг Генке техникум, пусть сразу на завод идет! Так и подохнут с семьей в общаге. А зарплаты у мамки с папкой большие? Не знаешь? Ну, кушай, доча, кушай, дай тебе бог здоровычка, и мамке твоей с папкой тоже...

Крик раздался внезапно, жуткий, на одной ноте — ААААА! Лидочка поперхнулась, выронила персик, его тут же облепило крупным песком — прямо по самой лакомой мякоти, уже не отмоешь, на выброс, жалко-то как, а крик все приближался, пока не взвинтился на такие запредельные высоты, что пляжная картинка, словно нарисованная на толстом полупрозрачном стекле, тотчас помутнела и вся пошла быстрой паутиной испуганных трещин. Отдыхающие медленно, как сомнамбулы, поднимались с полотенец и лежаков, кто-то уже бежал к берегу, расталкивая остальных.

ААААААА! ПА-МА-ГИ-ТЕ! ПА-МА-ГИ-ТЕ!

Тетя Маня испуганно перекрестилась, господи исусе, Коль, глянь, что случилось, только не реви, доча, это кому-то, видно, головку напекло, пойдем тоже посмотрим. Лидочка все оборачивалась на упавший и безнадежно испорченный персик. Она и не думала реветь. Наоборот — было ужасно интересно.

Папа стоял на коленях на самой пляжной кромке, и его, как маленького, тянул за руку рослый мокрый парень, один из отряда бугристых спасательных атлантов, которые обычно сутками торчали на своей деревянной вышке, обжираясь мороженым, заигрывая с курортницами, но по большей части, конечно, дуря от скуки.

— Вы в порядке, товарищ? — спрашивал парень у папы, участливо выставив зад в пламенеющих плавках, и из толпы любопытствующих кто-то ответил укоризненным баском:

— Какое в порядке! Не видишь! Потоп человек!

— Не потоп, а баба его потопла, — поправили бабовитого, и папа, наконец вырвав у парня руку, вдруг мягко и глухо охнул и упал ничком, будто игрушка, которую случайно пихнули локтем с насиженного места.

Спасатель распрямился, растеряно озираясь, но сквозь кольцо отдыхающих уже пробивалась, покрикивая, белая и юркая, как моторка, докторша — и точно такая же белая и юркая, но уже настоящая моторка крутилась у буйков, нарезая взволнованные круги, и с нее с беззвучным плеском ныряли в гладкие волны другие спасатели, перекрикиваясь далекими, колокольными, молодыми голосами.

— Ишь ты, жена утонула, а сам целый, — не то укорил, не то позавидовал кто-то невидимый, неразличимый в голой, потной, гомонящей толпе, и папа, словно услышав эти слова, тотчас поднялся — весь, как недоеденный Лидочкой персик, облепленный тяжелым бурым песком.

Он вдруг задрал голову к небу и погрозил кулаками кому-то сверху — жестом такой древней и страшной силы, что он не был даже человеческим. Шалов-

ливая волнишка решила подлизаться к нему, припала к розовым, детским каким-то пяткам, но вдруг перепугалась и бросилась назад, в море — к своим. Папа обвел отдыхающих голыми мокрыми глазами.

— Нет, — сказал он вдруг совершенно спокойно. — Это все неправда. Нам пора обедать. Мы сейчас пойдем обедать. Где моя дочь?

Лидочка выдернула из кулака тети Мани маленькую, липкую от персикового сока руку и бросилась прочь, увязая в сыпучем, горячем — сыпуче и горячо. Что-то отчетливо лопалось у нее в голове маленькими частыми взрывами — словно срабатывали крошечные предохранители и, не выдержав напряжения, перегорали — один за другим, один за другим. Пока не стерлось все, что нужно было стереть.

(Только тринадцать лет спустя, глядя по Би-би-си неторопливую документалку про семью орангутангов, Лидочка внутренне запнулась, когда самец, едва отбивший детеныша у аллигатора, выскочил на берег, по-человечески, хрипло завыл и вдруг поднял изувеченного мертвого малыша к небу — не то карая, не то укоряя, не то пытаясь понять. Лидочка поморщилась, голову вдруг заволокло сальной мутью, будто она смотрела на мир сквозь захватанные жирными пальцами очки — чужие, с чужими диоптриями, прихваченные впопыхах с чужого стола. Ничего не получалось. Ничего.

А потом самец бережно положил детеныша на землю и все орангутанги по очереди обнюхали неподвижное изувеченное тельце, как будто попрощались, и гуськом ушли прочь, ссутуленные эволюцией, нелепые, мгновенно и счастливо все забывшие,

потому что забыть для них — это и означало жить. Жалко, правда? — спросил Лужбин, часто смаргивая — как все осознанно жесткие люди, он охотно лил слезы по пустякам. Лидочка согласно кивнула. Плакать от жалости ее отучили еще в училище, в девять лет. Персик хочешь? — Лужбин смущенно потянулся к тарелке с фруктами, вот черт, разнюнился, как баба. Нет, сказала Лидочка. Извини. У меня на персики аллергия.)

Дети устроены крепко, очень крепко. Сколько ни пыталась повзрослевшая Лидочка вспомнить лето восьмидесят пятого года не до, а после 24 июля — не получалось ничего, кроме болезненных и ярких вспышек. Покрывало на кровати в номере — бело-голубое, в цветах. Папа, целые сутки пролежавший на соседней кровати — лицом к стене, на затылке — сквозь рыжеватый пух — розовая, беззащитная кожа. В самолете — Лидочка первый раз в жизни летела в самолете! — затянута в синее и очень красивая тетенька разносила на подносе леденцы “Взлетные” — махонькие, вдвое меньше обычных, удивительные. Лидочка взяла один и, как учила мамочка, тихо сказала спасибо. Возьми еще, девочка, — разрешила стюардесса, и сквозь приветливый профессиональный оскал, сквозь толсто, как на бутерброд, намазанный тональный крем “Балет” проступили вполне человеческие участливые морщинки. Спасибо, снова прошептала Лидочка и взяла еще одну конфетку. В самолете было интересно, но душно и пахло хвойным освежителем воздуха и призраком чьей-то очень давней рвоты. Все шесть часов, что они летели до Энска, папа проплакал. Без остановки. Целые шесть часов.

Кто тогда взвалил на себя все невозможные хлопоты, кто собирал документы, добывал гроб, кто помог перевезти его через всю страну — кто? Лидочка так и не узнала. На похороны ее не взяли, и она — под присмотром молчаливой, оснащенной вязальными спицами соседки — осталась дома и степенно играла со своими куклами. Куклы варили суп и ходили в гости, а гэдээровская Леля с золотыми скрипучими волосами даже вышла замуж за зайца. Она была ростом чуть поменьше самой Лидочки, эта Леля, так что мамочка даже перешла ей одно из Лидочкиных платьев — белое, праздничное, с ужасным ожогом на груди от неосторожного утюга. Мамочка спрятала ожог под большим бантом и теперь белoshелковая Леля была просто обречена на вечные матримониальные устремления. Кем ты работаешь, Леля? Я? Невестой!

Когда зазвенел дверной звонок, Лидочка как раз соображала, кого назначить Леле и зайцу в ребеночки — лупоглазого щенка или пластмассового Гурвинака, у которого двигались ручки. Соседка в четыре приема (снять очки, положить очки, уронить клубок, потереть поясницу) попыталась извлечь себя из кресла, но Лидочка уже неслась в прихожую, подпрыгивая от счастья, — мамочка, это мамочка пришла, я знаю! Соседка наконец-то вырвалась из мебельного плена и украдкой перекрестилась. За дверью стояла женщина — Лидочке совершенно незнакомая — в платье невероятного, тревожного, ночного цвета. Она была очень красивая — очень, куда там стюардессе. Почти такая же красивая, как мамочка. Только губы чересчур красные. Женщина не глядя отодвинула Лидочку в сторону, словно небольшой и не слишком ценный предмет, и вошла в дом.

— А где мама? — спросила Лидочка и заранее растянула рот, чтобы половчее зареветь.

— Умерла, — очень спокойно ответила женщина, и соседка еще раз перекрестилась.

— А папа? — Что такое “умерла”, Лидочка не знала, но рев на всякий случай отменила.

Губы у женщины чуть-чуть дрогнули, как будто она собиралась поцеловать воздух, а потом передумала.

— Твой папа скоро вернется, — сказала она и наконец-то посмотрела на Лидочку.

Глаза у женщины оказались серо-голубые, прозрачные, гладкие и с каким-то сложным сизоватым переливом на самом дне. А у мамочки глаза были рыжие. Рыжие и веселые — как у рыжей веселой собаки. И потом — дальше, всю жизнь — больше всего на свете Лидочка боялась это забыть.

— А вы сами, позвольте, кто такая? — наконец-то очнулась от морока соседка, которая до этого недоверчиво разглядывала двойную жемчужную нитку на шее неведомой гостьи — бусины были крупные, одна к одной, и держались вместе с замечательной скромностью очень дорогой и очень простой вещи.

Искусственные, поди, успокоила себя соседка, профессиональный товаровед и вдохновенная завистница на заслуженной пенсии. Напрасная надежда — жемчуг был настоящий, серо-розовый, морской, терпеливо выращенный в нежных, живых устричных потемках. У Галины Петровны Линдт вообще все было только настоящее, только самое лучшее и дорогое. За исключением ее собственной жизни, но об этом, слава богу, никто не знал.

— Кто я такая? — Галина Петровна сострадательно приподняла брови, как будто соседка была сумасшедшей и не узнала царствующую особу, портрет которой